

Алексей Устиженко

ФРИДА, ИЛИ РАССКАЗ
О ЧЕЛОВЕКЕ, ДЕЛАЮЩЕМ ГРОБЫ

I

...А когда они пели вместе — это было хорошо.

Они нежно обнимали друг дружку за плечи и — сначала шли молча, покачиваясь, сопя и приноравливаясь к шагу: один к другому. Но потом входили в собственный замысловатый ритм и начинали голосисто выводить куплеты... То нежно-тянучие — слов не разобрать, в один как будто бы длинный голос. То дерзко-ернические, отпугивающие, заставляющие прислушиваться девчонок и краснеть баб. А то даже самые что ни на есть современно-популярные — с криком и бессмыслицей в понятных словах.

Впрочем, последние получались у них хуже всего. Другое время...

Но все-таки и с этим их тоже не обрывали, давали допеть. Ведь вся улица слушала.

А пели они по-настоящему больше всего в праздники и воскресенье. Или когда выпивали чуть-чуть — для этого сходясь и находя друг друга в любую погоду, интуитивно двигаясь навстречу по исполосованной вдоль и поперек рубчатými отпечатками резиновых шин поселковой дороге.

Они кружили между штaketниками палисадов, выбредали на задние чьи-то дворы Кривощекова к огородам с мелкоцветущей розовыми звездочками зеленой картошкой, к высоким подсолнухам с листьями из желтого шелка. И — пели, ох как пели!

А потом, если у них что-нибудь оставалось, допивали последнее и расходились по домам: хрипловатый Иконников в свою комнатушку в доме у дочери, а говорящий и поющий тенором Кривцов — в свой собственный дом. С четырехскатною крышей под красною

жестью и с ажурным дымником над трубой — сам смастерил в самом начале подпершей однажды пенсионной скуки.

Кривцов умел делать все. Имея тяжелые руки, насобранный за длинную жизнь редкий инструмент, целые склады хорошо хранимого чистого и сухого дерева да уйму свободного времени, он, когда не гулял с Иконниковым, пилил, строгал, точил, склепывал и склеивал множество самых разных вещей. И всегда, и все — с одинаковым удовольствием.

Едко и далеко пахли, разваренные в липкой жестянке, густо-коричневые леденцовые плитки столярного клея. Цеплялись за ботинки золотые колечки стружек, хрупая и сминаясь на мягком слое насыпанных в мастерской — и повсюду — опилок. А он, Кривцов, ходил среди этого мирка добродушным, счастливым — то ли князем, то ли императором, — светло удивляясь всему внове сделанному. Табуретке ли. Полке ли под книжные разрозненные томики. Грустному ли и поместительному гробу — на заказ. Или самовару — с выправленным от древней примятости тускло блестящим боком. Просто так выправленному. Как-то незаметно, что ли. Попутно...

Он сам радовался всякой возможности порадоваться и погордиться собственной умелостью. Погордиться не меньше, чем уличным громким пением. Принимал похвалы и задибал Иконникова, у которого не случалось желания чего-либо постругать или попилить с собственного дня его рождения, тем более теперь — в малюсенькой, до последней пылинки вычищенной, дочерниной комнатухе.

Иконников же, в отместку, когда Кривцов чересчур уж расхохотался, быстро осаживал его...

— Все уважают... — тогда говорил он. — А Фридка-то, наверное, поболее бы всех цену настоящую назвала. В чем, в чем, а в руко-меле да в чистоте немцы лучше всех наших понимают. Подарил бы ты и ей чего-нибудь. А то нехорошо... Поди, одну-то ее во всем Кривощекове и пропустил... И оставил, вот, без всего. Хотя б — табуретку. Жалко, что ли?

Кривцов багровел, высоко на лоб подбирал белые лохматые брови и зло отвечал вздрагивающим голосом:

— Молчи, пустозвон! Не заводись. Я таких, как она, знаешь, где видал?

— Ага, — хмыкал Иконников, радуясь, что сменил тему, — в гробу в белых тапочках.

— Остришь? — чуть спокойнее замечал Кривцов. — А сам гвоздь забить не умеешь.

Иконников пожимал плечами и, если был в гостях у Кривцова, поднимался, чтобы обиженно уходить к себе. А Кривцов поднимался, чтобы его проводить.

Они выходили во двор, стуча ногами по прогибающимся доскам крыльца, соря впечатавшимися в подошвы ботинок грязными опилками, но там — не прощались. Потому что, как-то вдруг и само собою, подступало желание о чем-нибудь попеть вместе... И они, не договариваясь и молча, сразу же шли туда, где можно было найти чего-нибудь немножко выпить. Для снятия ненужного, мешающего пошуметь от души, торможения. Наконец обнимали друг дружку за плечи и вдруг начинали радовать сошедшимися в печальную толкотню голосами всех, без всякого разбору выходящих навстречу, людей.

Выходила и Фрида, — маленькая пересохшая старушка с белоснежными, гладко натянутыми на просвечивающую кожу волосами, совсем не спрятанными — как у всех поселковых кривошековских баб — под совершенно одинаковыми косынками (густо насыпанные черно-маковые точки по всему полотну), но мертво лежащих наружу: волосок к волоску.

Выходила медленно, осторожно, с тревогой взглядывая за близкий штакетник, — пройдут ли мимо пьяные крикуны, минуют ли двор ее где-нибудь по округе или все-таки — не ровен час! — выкатятся, выбредут, выйдут именно на него?

Случалось, и миновали...

Но сегодня Господь не отвел. Прибрели...

— Дай-ка, дай-ка, сейчас я ей крикну! — проглотив, недопето, последний куплет песни, сказал Иконников.

— Не лезь, — сказал Кривцов, разглядев старуху, безмолвно замершую в дверях. Притихшую. Пошевеливавшую лишь только стиснутыми — должно быть — пальцами больших ладоней: спрятанные под передником, они там тихонечко вздрагивали.

И добавил:

— Я сам крикну, когда надо.

— Тебе лучше знать, — согласился Иконников, но и поторопил: — Не опоздай. А то она вон уж и фигу тебе под подолом на-вертела...

Растрепанная соседка Фриды со скучающим любопытством — ожидающе — навалилась кругло вздувшейся грудью на покачнувшуюся, разделяющую два двора, тонкую изгородь: будет скандал или все разойдутся с миром?

— Что? — закричал тогда, увидев и соседку, Кривцов. — Взяли Москву, гады фрицы? Взяли?

— Так ее, так! — засмеялся Иконников и, радостно разглядывая выпирающую из-за изгороди фигуру, быстренько потер ладонью о ладонь.

— Взрослые люди, — пробормотала соседка, устраиваясь поудобнее, — а дурачатся...

— Цыц! — весело прикрикнул на нее Иконников и пьяно показал язык.

Соседка подбадривающе засмеялась и мельком глянула в сторону осторожно делающей шаг со ступеней Фриды.

Кривцов же, перехватив ее взгляд, быстро засуетился, заметался вдоль штакетника, завертелся на одном месте, выискивая у себя под ногами что-нибудь такое, что смогло б долететь до старухи. И Иконников тоже, понимая всю важность момента, стал топтаться поодаль. Вертя головой. Оглядываясь. Щуря бесцветные глаза под белесыми ресницами. Делая озабоченный вид.

Нужного не нашлось...

Тогда задохнувшийся Кривцов тяжело изогнулся и — сопя — чуть не порезав руку, с трудом вытянул из земли целый пучок, затрепавшей обрываемыми корнями, грязной травы. С корней же, длинных и в клубок перепутанных, посыпалась сухая рыжая глина.

Иконников, не успев увернуться, замер, дрожащей ладонью быстро закрыв обсыпаемые пылью глаза. Запорошенные ресницы запрыгали на тонких, морщинисто сжимаемых веках, сию секунду моргнув колющую муть.

Вертящийся грязный пучок промелькнул мимо и упал за штакетник. До обидного близко.

Старуха, выпрямив и без того ровную спину, безмолвно отступила на прежнее место.

— Может быть, хватит вам измываться над пожилым человеком? — с большим, чем нужно, надрывом закричала вдруг соседка, откачнувшись от изгороди и сразу двумя руками подтягивая на себе неловко слезшее платье.

— Цыц! — снова повторил Иконников и теперь погрозил кулаком.

— Ироды пьяные! — завопила тотчас же баба. — Счас к участковому сбегаю. Сделаю вам по пятнадцать суток...

— Я тебе сделаю, я тебе сделаю! — пытался перекричать ее подпрыгивающий Иконников.

— За кого заступаешься, дура? — метался перед штакетником разгоряченный Кривцов, раскачивая серые, давно не крашенные дощечки. — За врага родной нашей власти советской?

— Я тебе счас разъясню, за кого! — кричала соседка, но теперь уже на бегу, отступая, ловко обпрыгивая мелкие грядки, набросанные по всей глубине огорода.

Иконникову без свидетелей стало скучно кричать.

Но Кривцов и не думал униматься.

Он снова и снова хватал что-то с земли у себя из-под ног и швырял во двор старой Фриды.

Прозрачный трудовой пот, струящийся со щеки на шею, впитывая всю поднятую пыль, становился бурым и заметной полосой медленно затекал за белый воротник праздничной рубахи Кривцова.

II

— Участковый сюда идет, — сказал вдруг Иконников, пытаясь удержать вскинутую в новом замахе руку Кривцова.

— А и черт с ним, — ответил Кривцов недовольно.

Осмелевшая Фрида, разглядев сквозь дверную щель идущего мимо милиционера, вновь выступила на крыльцо, с минуту постояла, недовольно оглядывая набросанное, потом, ухватив стоящий за косяком пухлый веник, стала подметать, не обращая внимания ни на Кривцова, ни на Иконникова.

— Опять? — спросил у них лейтенант Озерной, подходя ближе.

Кривцов, заправляя вылезшую из-под узенького потрескавшегося брючного ремня рубаху, недавно еще отглаженную и чистую, пожал плечами.

— Здесь не хотите отвечать, проследуем ко мне. Там по всей форме поговорим.

— Брось, лейтенант, — высунулся из-за плеча Кривцова обеспокоенный Иконников. — Мы это — так... Пошутили.

— Как же... Шутили они!.. — крикнула со своей стороны вновь наклонившая изгородь соседка. — Могли б и в меня попасть. Спасибо, Бог миловал...

— Ври! — крикнул Иконников, подпрыгнув от собственного негодования.

— Без выражений оно бы лучше, — сказал Озерной и опять повторил: — Пошли, я сказал.

— Ладно, веди, лейтенант, — засмеялся почему-то Кривцов и грязной ладонью пригладил волосы.

— За правду и пострадать можно, — опять слегка подпрыгнул Иконников, принаравливая свой мелкий шаг к широким шагам лейтенанта, идущего рядом с Кривцовым, и слегка успокаиваясь от мирного разговора с представителем поселковой власти.

Дошли скоро. Через две улицы на третью, угловым крепким зданием из почти черных бревен, ставленных на высокий — в пол-этажа — кирпичный фундамент, стоял дом. Всего-то, однако, в четыре комнаты.

В одной из них, самой малой, ютилась худенькая паспортистка. В другой, самой большой, рядами перегораживая ее всю, стояли скамейки, на которых посиживал иногда немногочисленный, но говорливый поселковый народ. Чаще — мальчишки, сзываемые участковым Озерным для профилактической с ними беседы. В третьей, почти всегда темной, с одним лишь мелким — размером с планшетку, которую носил на боку лейтенант, — окном, обычно отсыпались не добредшие до дому, перебравшие где-нибудь от радости или от тоски неудачники-гуляки. Озерной, закрывая за каждым из них тяжелую, всю в железе, скрипящую дверь с круглою дыркой посередине, замыкая замок, чертыхался и злился, что это приходится делать. Тем более что домой после этого он сам уж не уходил — мало ли чего с ними спьяну вдруг может случиться? Охранял.

Вошли в четвертую. Со столом и казенными стульями.

— Чаю хотите? — спросил участковый, ни к кому, собственно, не обращаясь.

— А почему бы и нет? — согласился Кривцов, уютно усаживаясь возле самого стола.

Лейтенант вышел в сени, застучал какими-то кастрюльками, чайником и стаканами.

— Катя, ты кипятильник не видела? — донесся его голос от туда.

— Наверное, он на сейфе лежит, — сказала паспортистка. — Сейчас посмотрю...

— Заваришь нам на троих, как найдешь? — попросил Озерной.

— А если нет? — кокетливо спросила Катя.

— Оштрафую, — торжественно пошутил Озерной и, довольный собою, вернулся к задержанным.

Кривцов сосредоточенно разглядывал молчаливый телефон. Иконников же, улыбаясь от неопределенности, тихонечко поколупывал скамейку, на которой сидел.

Озерной подошел к окну, открыл форточку и, оборотясь к стеклу спиной, присел на низенький узковатый подоконник.

— Ну, — сказал Озерной, — и не надоело еще?

— Это вы про что? — быстро взглянув на Кривцова, приподнялся Иконников.

Но участковый не ответил ему.

— Стерва она, Фридка, — устало посмотрел на лейтенанта Кривцов. — Знал бы ты, лейтенант, сколько уж лет она у меня в печенках сидит. Рад бы выкинуть, а — не достанешь.

— И на каком основании? — спросил Озерной, снимая фуражку и укладывая ее сбоку же от себя, на тот же давным-давно заданым вытертый подоконник.

— На основании пережитой войны, — сказал Иконников, обиженный, что внимания на него почему-то не обращают. По крайней мере — в достаточной степени.

— Не понял, — сказал лейтенант.

— Куда уж тебе, — поморщился Кривцов. — Ты и не родился еще, а я уж к ней счеты имел...

— Молод ты, лейтенант... — сказал Иконников.

— А и ты не подзуживай, — посмотрел на товарища вдруг Кривцов. — Тоже недалёко ушел. Когда я с корешами до Кенигсберга дошагивал, ты еще лишь мамкину титьку кусал.

— Это я-то?! — взвился со скамейки Иконников. — Я в мастерских уж тогда, в мастерских! Всю войну помню! Не отымешь...

— Все одно... — отмахнулся Кривцов. — Сиди молча. Чтоб и не слышно тебя...

— Да идите вы... — обиделся Иконников.

Лейтенант снова зачем-то надел фуражку, прошелся по комнате, выглянул в коридор:

— Катя, скоро?

— Закипает уже, — откликнулась паспортистка и зазвенела толстым стеклом тяжелых ребристых стаканов.

— Ты сядь, лейтенант, — посмотрел ему в спину Кривцов. — А то я не стану рассказывать.

— Да будет вам, — примиряюще вздохнул Озерной. — Сейчас чаю поьем. Дадите мне слово, что перестанете обижать старуху, миром и разоидемся... Катя, ну долго тебя ждать?

— Нет, лейтенант. Уж сегодня-то ты меня выслушаешь. Уж сегодня-то я тебе все скажу. Может, поймешь тогда — не за мной досмотр нужен, а за Фридкой. Думаешь, мне не обидно?

— Я ничего не думаю, — строго сказал Озерной. — Хотите по протоколу? Получите. Катя, отставить чай...

— Ну, вот, — отозвалась паспортистка. — Сами не знаете, чего вам нужно. Лишь бы человека гонять.

Озерной быстрыми шагами подошел к коридорным дверям, захлопнул их и опять стал возле окна.

Тонкие, мягко повисшие березовые ветки, расшевеленные пронесшимся ветром, шуршали и тонко царапали по наружному пыльному стеклу.

III

— А ты бы как себя чувствовал, лейтенант, если б вот тоже — домой после службы вернулся, и целый, и невредимый, а возле твоего, тобою ставленного единоличного забора, все те же фашистские рожи маячат? Скажешь, не обидно?

— Не скажу, — сухо заметил Озерной.

— Это тогда возле их двора зону поставили, — пояснил Иконников, со скукой поглядывая в окно. — Я помню. Два барака состроили и колючкою обнесли.

— Знаю, — кивнул лейтенант. — Пленных в те времена по всей стране в достатке было населено.

— То-то и оно... — сощурился Кривцов. — Я как думал: приеду, шинельку стряхну, и все их лица, там увиденные, и подлые их дела — из памяти долой. Противно помнить... Приехал...

— ...а тут они, — вставил Иконников. — За колючкой. И опять — здрасте.

Озерной молча пожал плечами.

— Да что тебе говорить! — облизал губы Кривцов. — Кому понять, когда сам я себе не объясню. Но тогда — сжался, глаза закрыл. Жить начал. А сердце, будто в кулаке держал, чтоб от злости не выскочило. Понимал: не вечно же они тут. Стерплю. Они свое отхрячат и попрут их обратно в собственную Германию.

— Все верно, — согласился лейтенант и посмотрел на закрытую дверь: может, следовало бы все-таки опять напомнить про чай? С ним — вроде как поуютнее...

— Дождался-таки: колючку срезали. Их — в грузовики да на станцию. Домой пора, коли живы остались.

— Понятно, — кивнул лейтенант.

— Да ничего тебе не понятно, — шлепнул вдруг с силой широкой ладонью по столу Кривцов. — Ничего! Ровным-то счетом ничегошеньки.

— Фридка-то и не подумала уезжать. Осталась... — конечно же, поторопился вставить Иконников.

Кривцов медленно снял ладонь со стола, повернулся к Иконникову и, привычным движением одного пальца о другой шелуша желтую кожу жесткой мозоли, тяжело произнес:

— Еще раз выступишь, — прибыю.

— Но-но, — повысил голос Озерной.

Стало тихо.

Гибкие березовые ветви время от времени противно скребли по стеклу, — то ли сюда просились, чтобы впустили, то ли еще чего...

— Я — что? Я молчу... — чуть слышно произнес Иконников.

— Ну и молчи, — сказал Кривцов.

— Ну и молчу, — совсем неслышно пошевелил губами Иконников.

— Так, может, к немцам-то у нее нет никакого отношения? — спросил Озерной.

— Это у нее-то, у Фридки? — приподнялся со своего места Кривцов.

— На ихней кухне работала... — посмотрев на него, сказал Иконников. И, увидев, что его не перебивают, досказал: — И доступ наружу, за колючку-то — свободный был.

— К немцам у нее отношение самое прямое, — усмехнулся Кривцов, — сама немка. От рождения. А про другое если отношение говорить, так оно, скорее, интернациональное: по ночам в халупу к начкару русскому бегала. Мало ему своих баб-то по округе. Так он и за немку принялся. Не брезгливый. Вошь тыловая...

— Может, оно и так, — сказал Озерной. — Но все-таки следует проверить.

— А ты проверь, проверь, участковый, — вытянул к нему злое лицо Кривцов. — Проверь и меры прими, наконец, положенные. Уведи меня от греха.

Озерной усмехнулся:

— Меньше руками размахивай, вояка! Нашел с кем воевать. И — учти: свершишь деяние — попадешь под Кодекс. Статья найдется.

— Ой, страшно! — сказал Кривцов и встал, чтобы уходить.

Иконников тоже зашевелился, но пока с оглядкой: может еще чего надо участковому?

Но тот молчал и смотрел за окно на скрипящие ветки.

— Она с начкаром спала, — выглядывая из-за многими ладонями обмусоленного дверного косяка, сказал Иконников. — А это — предательство.

— Предательство, да не ее, — взглянул мимо говорящего Озерной.

— Кажется, поверил, — уже на крыльце сказал Кривцов и сплюнул в сторону, на тускло-желтые одуванчики.

IV

Наутро, через поселковую почту, созвонившись с областным управлением, лейтенант Озерной неуклюже выкатил из сарая свой темно-синий мотоцикл. Закинул в коляску пустой рюкзак — останется время, почему бы не побегать по продуктовым лавкам? — и застегнул над ним на короткие ремешки туго натянутый черный брезент. С некоторым коротким разбегом завел мотор и, распугивая бестолково разбрасывающих крылья, прижимающихся на бегу к земле, квохчущих кур, помчался через поселковую пылицу на серо-асфальтовый большак.

Кривцов дождался, когда мотоцикл пролетит мимо, прищурился, не поленился сходить к старухиному дому, бесполезно постоял перед ним, глядя на не замечающую его — за тюлевой занавеской стоящую — Фриду, судя по деревянному стуку, устало шинкующую дряблую капусту. Повернулся. Ушел к себе в комнату, зло захлопнул дверь за собой и даже закинул на кованую петлю старый гремющий крючок.

Два дня он ничего не делал. Никуда не ходил. В брюках и майке лежал на кровати, смотрел в потолок с мелкими трещинами, рассыпанными по всей давней побелке, и только свистел иногда сквозь темные зубы что-то совсем неразборчивое.

На третий день в дверь тихо постучался Иконников, и пришлось открыть. Вместе с Иконниковым всегда приходили новости.

— Что? — неважно изображая равнодушие, спросил Кривцов. — Участковый вернулся?

— Да вроде нет, не видал, — пожал плечами Иконников. — Да теперь и все равно. Пусть бы и насовсем там остался.

— Это почему? — заправляя синюю майку в мятые брюки, поинтересовался Кривцов.

— А так... Незачем. Фридка-то померла ночью. Чудны дела Твои, Господи...

Иконников неизвестно чему улыбнулся, отодвинул на угол стола эмалированную кастрюлю со вчерашним борщом, плетеную хлебницу с половиною булки и положил на клеенку тонкую пачку из сразу же затопорщившихся десятков, пятирублевков и трояков.

— Вот. Старухи собрали. Просили тебе сказать, чтобы гроб сколотил. Больше никому.

Так толком и не заправив короткую майку в обвисшие брюки, Кривцов с размаху сел на кровать, укусил себя за нижнюю губу, неловко стукнул большим кулаком по зазвеневшим пружинам и медленно сказал:

— Конец войне. Справедливость всегда себя покажет. Скажет свое. На сколь верст теперь чисто по округе!

— Пересчитай... — сказал Иконников и сухим указательным пальцем пододвинул деньги к разговаривающему Кривцову.

— Чего еще это? — невидяще взглянув на придвинутое, не понял Кривцов.

— Старухи скинулись, — опять пояснил Иконников. — Гроб-то сделаешь? Или нет? Что сказать? Ведь больше и некому...

— Убери, — всей крепкой ладонью с корявыми исцарапанными пальцами отодвинул измятые бумажки Кривцов. — Вот нашим, советским, чего хочешь, сколотить бы взялся. Только попроси они меня, дорогие мои покойнички! А таких, как вот эта, — он неопределенно потыкал пальцем в сторону улицы за окном, — мы, случалось, после боя и просто так, за бесплатно закапывали. И на кой ляд мне ныне привычки менять? А, дорогой?

— Как это? — не сразу понял Иконников. — Без гроба хоронить предлагаешь? Часом не сдурел?

— Да сколочу я тебе все, что положено, — поморщился на непонятливого Кривцов. — Но бумажки свои убери. Убери, говорю...

Он резко поднялся и, освобожденные от его тяжести, кроватные пружины неуклюже и вразной защелкали, затрещали, заверещали.

— А-а-а... — протянул Иконников.

— Б-э-э... — отрубил Кривцов и, не оглядываясь, пошел копать в стайку¹, отыскивать подходящие к делу доски.

— И обмерять не сходил, — чтобы только что-то сказать, сказал Иконников и пожал плечами. — Нашел, когда глазомером своим выхваляться, чучело. Еще не эдак-то сладит, как нужно...

Сказал и заторопился возвращаться к старухам. В глубине души он хорошо знал, что за Кривцовым догляд не нужен. Что сладит он все, как положено. Пусть и бесплатно.

¹Стайка — небольшой сарай (широко употребляемое в Сибири слово).

V

Пригибаясь, стараясь не зацепить, не стукнуть об косяки дверей плывущим на спине гробом, Кривцов осторожно перешагнул порожек и вошел в дымный полусумрак комнаты.

Сошедшиеся возле окна старухи, ругающиеся шепотом между собой, читать им или не читать над покойницею Псалтырь, — все ж таки и в церкву она не ходила, и немкою числилась, а те, как известно, будто бы все протестанты, протестующие, то есть против всего христиански правильного, — увидев Кривцова, сначала примолкли, потом бросились составлять друг с дружкой рядом зеленые крашенные табуретки. Все до одной — базарные, купленные.

Подскочивший откуда-то из темноты Иконников запрыгал возле Кривцова, стараясь перехватить ношу, но тот сразу же цыкнул на него:

— Не мельтешись, бестолочь. А подмогнуть невтерпеж — лучше на улицу выбегни. Там возле калитки крышка прислоненная...

Иконников бесшумно просунулся в дверь и, неловко выбрасывая перед собою худые ноги, побежал за крышкой.

Кривцов опустил гроб на табуретки и только тогда огляделся.

Давно обмытая старухами Фрида, с темным, незапоминающимся лицом, лежала на ровно застеленной покрывалом кровати, прикрытая поверх неподвижного платья белым тюлем.

Несколько тонких коричневых свечек дрожали у изголовья, на тумбочке, мелкими копеечными огоньками.

Глаза у Кривцова уже привыкли к подмаргивающему голубоватому мраку. Освободившимися руками он помял затекшую шею, еще раз оглядел Фриду, молча засуетившихся снова старух и повернулся, чтоб выйти на улицу, на чистый и солнечный теплый свет.

Ему было хорошо и спокойно от внутренней, таящейся ото всех, обычной гордости, что, вот, он все состругал, сколотил и сделал так, как тому подобает быть, что никому не пришлось просить его дважды, что зла все-таки не попомнил, да еще и остался сам по себе — бессребреником.

Единственно, что как-то неприятно поразило его, что царапалось и словно бы даже мешало, как раздражающе обычно мешает

попавшая в надетый ботинок колючая крошка, так это — кровать под застеленным покрывалом.

Точно такая же, один к одному, только, вот, всего-навсего с пружинами растянутыми — продавленными, провисшими и поющими — была у него самого.

Отчего саднила в душе эта схожесть, он и сам пока что не понял, не разобрался. Бог весть...

На улице, возле стола под клеенкой с нерасставленной до поры, до поминок, башней белых тарелок, деловито суетилась растрепанная женщина и, время от времени, дыша на ребристое стекло, вафельным сереньким полотенцем перетирала стаканы.

Кривцов сначала и не узнал ее. Но когда она благодушно колыхнула перед ним лезущей из-за выреза грудью и быстро спросила: «Налить тебе стопочку?» — он тотчас признал Фридкину соседку, живущую за изгородью. Удивленно приподняв белую бровь, как бы в некотором размышлении, он разрешающе кивнул — это он мог себе позволить, это было заслуженно...

— Можно... — добавил он и присел возле теплой стены на завалянку.

Выпитая водка мгновенно отогнала мешающие глупые мысли о странном, случайном, в общем-то, сходстве двух кроватей. А уже сидящая рядом женщина, протягивающая кусок вареного мяса на кончике длинной вилки и отирающая собственный влажный лоб тем же вафельным полотенцем, которым проехала и по стаканам, вдруг показалась самой близкою и понятливой.

— Отбегалась бабка, — сказал Кривцов.

— Пора уж, — сказала женщина, скинув туфли, зацепив их одна об другую. И, вытянув прямо перед Кривцовым крепкие ноги, лениво пошевелила коротенькими красноватыми пальцами: — Ей теперь что... Отмаялась. А у меня — уж сил нет, как устала! Невмоготу... Хлопот полон рот. Плохо, когда одиноких хоронят. Были б сродственники, была бы и помощь.

— Скоро выносить станут, — посмотрев на шевелящиеся пальцы, произнес Кривцов. — Пойдешь проводить?

— Куда уж, — сказала она. — Успеть бы к вашему возвращению закуску расставить.

И опять почему-то стало нехорошо, беспокойно. И он невидяще стал смотреть на шершавый, плохо обструганный штaketник,

на комья старой грязи, нашлапанной на листья крапивы и на лопухи с проезжей уличной стороны, на облако вздернутой к небу пыли там, вдалеке, за домами, где почти еще неслышно затарахтел то ли поползший куда-то трактор, то ли взбирающийся на бугор мотоцикл.

Иконников наконец дотащил крышку гроба и стоймя притулил ее возле дверей. Доверительно подмигнул Кривцову и, что-то насвистывая, отошел в сторону, чтобы не помешать сидящим.

— Пойду подметусь, — сказал Кривцов, поднимаясь. — Весь верстак стружкой завалил.

— Не опоздай помянуть, — сказала женщина, шевельнув ногой и пальцами подцепляя свалившиеся на бок туфли.

Он ничего не ответил и побрел к калитке.

Пыльное облако возле дальних домов улеглось, просветлело. Мотоцикл тарыхтел теперь где-то рядом, за поворотом, очевидно, съезжая с истертого большака на наезженный, весь в мелкой траве и пыли, проселок.

Пахучие капли желто-зеленой мяты прятались возле камней.

Кривцов аккуратно притворил за собой распахнутую Иконниковым калитку, вздохнул и в сердцах пнул зеленую, невесть как сюда попавшую сосновую шишку.

— Я смотрю, у вас тут грустные новости, — глуша мотор, обернулся пролетевший мимо него Озерной.

— Померла бабка Фрида, — кивнул Кривцов и почему-то поглупому улыбнулся. И лицо его получилось жалким, как будто оправдывающимся.

— Всею свое время, — невозмутимо сказал Озерной, усаживаясь поперек седла. — А у меня про нее тоже новости...

— Я что-нибудь наврал, — быстро взглянул на него Кривцов, — ну, когда рассказывал?

— Почему же, — потер подбородок участковый. — Она и в бараках у немцев работала. И сама немка. И в служебке у начкара ночи спала. Все документы имеются.

— Это так, — согласился Кривцов. — Это и без бумаг каждому сопляку известно. Так чего ж не уехала?

— В том-то и дело, — посмотрел на него Озерной, — что она — не они... Она сама по себе. Отдельно.

— Как это? — удивился Кривцов.

— Да проще простого... Про «указных»-то слышал? Слышал! Пленные свое отсидели и — с Богом! — катись! В свою Германию. А им, «указным», все одно — некуда. Не в Поволжье же их обратно пускать? Им ссылка навечно. Нашим немцам похуже, чем тем германским, гайки закручивали.

— А начкар? — зачем-то спросил о ненужном Кривцов.

— Что «начкар»? Пока была зона, был и начкар. Может, и по любви с ним спала, а может, и от несчастья своего: жить захочешь, и на чужой постели покрутишься... Ладно, не нам судить.

Озерной отвернулся и, заводя мотор, будто бы рассердясь и на самого себя за болтливость, и на любопытствующего попустому Кривцова, и на указы, и на равнодушный ко всему мотоцикл, сильно ударил ногой в сапоге по близкому колесу. Выругался и уехал.

Кривцов не стал смотреть ему вслед, но повернулся и быстро пошел обратно. К той же калитке, закрытой на закинутый в петлю крючок им самим. Только что. Вот сейчас.

VI

Иконников сразу выбежал ему навстречу, словно стоял за дверью, где лежала мертвая Фрида, и подглядывал в щелочку, чтобы не упустить момента, когда возвратится Кривцов.

Старухи уже толклись на улице, щурясь от солнца и промакивая уголки слезящихся глаз одинаково скрученными концами белых, заботливо повязанных платков.

Фридина соседка неторопливо двигалась возле стола, заставленного посудой и время от времени пальцем пересчитывала то ожидающих выноса старух, то вилки с ложками, то стаканы.

Ни на кого не глядя, Кривцов пересек двор, сошелся с Иконниковым, остановился и, твердо взглянув тому в глаза, вдруг спросил:

— А платить они думают?

— За что? — удивился Иконников.

— За работу, — прищурился недовольно Кривцов. — Таких досок, какие в дело пошли, днем с огнем не сыскать во всем Кривошекове.

— Чудишь, — пожал плечами Иконников. — И меня в дурацкое положение ставишь. Надо было сразу брать, когда предлагали...

— Ничего, — хмуро взглянул на старух переменчивый Кривцов. — Еще и сейчас не поздно. Деньги при них. Здесь тратить некуда.

— Попробую, — отошел от него Иконников.

Потом Кривцов стоял и смотрел, как они суетливо хлопотали возле друг дружки, бросая встревоженный взгляд то на пустую дверь, боясь пропустить вынос тела и не заголосить вовремя, как положено, то на него самого, ожидающего посреди двора.

Их сухие пальцы торопливо раздергивали неловкие узелки в носовых платках, рылись в больших карманах на серых юбках, опускались за пазуху, шарили под широкими резинками, стягивающими их коричневые и длинные чулки на сухих же ногах.

Иконников неловко отводил глаза, что-то мямлил и принимал еще теплые тройки и пятерки из горсти в горсть.

VII

Много позже, уже после того, как Кривцов и Иконников попеременно обхлопали желтую глину на новом кладбищенском холме, проволокой привязали к неокрашенной белой тумбе зелено-розовые восковые венки и ушли, оставив лежать бессловесную Фриду на равнодушном — и здесь — к ней погосте, много позже, уже после того, как помянули старуху, не чокаясь, теплою водкой и красным вином, как поели сладкую кутью и горячие, в прозрачном растекшемся масле лежащие блины, уже много позже, как стемнело, оставили они шумный двор еще со многими голосами, но и уже пустой...

Здесь они ничего не пели. Да их о том там никто и не просил.

Петь они стали — отойдя далеко, потом... Когда вряд ли и кто их расслышал.

А когда они пели вместе — это было хорошо.

